

ВЕРХАРН. <1>

«Мир открывается ему, как дикая греза среди бури, и его ритмы несутся, как облака под дыханием грозы».¹

У нас полюбили и оценили Верхарна как социального пророка, как поэта города, поэта промышленности, поэта современности, но у Верхарна есть еще иное лицо: он поэт ветра и стихийной жизни природы.

Я люблю грандиозность его метафор, которые в своей неудержимой стремительности растут, как снежная лавина, достигая до размера геологических катаклизмов.

Иногда кажется, что он отрывает куски звездных туманностей и бросает их раскаленными шарами в пространство, и они в своем беге твердеют, расцветают жизнью, покрываются растительностью, кишат зверями и застывают ледяными кристаллами.

Метафора Верхарна больше, чем один из изобразительных приемов художественной речи: это космическое явление.

Из всего, что было написано об Верхарне, меня больше всего привлекала небольшая статья Реми де Гурмона. Трудно представить себе две величины более несовместимые.

Холодный и логический мозг Реми де Гурмона, похожий на громадный и прозрачный бриллиант безукоризненного блеска, направляет один из своих лучей в хаотическую мглу пророческой души фламандского поэта.

Бриллиантовый и скептический ум Реми де Гурмона возмущен:

«В поэзии Верхарна нет интимности. Она объективна», — заявляет он в первых строках. Но метафоры Верхарна сбивают его с толка, заставляют его терять свою обычную ясность и вздымают на дыбы, как шпоры, впившиеся в бока.

Красные светы,
 Что движутся
 На вершинах мачт
 И пылают даже в полдень,
 Подобно чудовищным золотым яйцам.

«Где разгадка этой шарады? – восклицает в негодовании Р. де Гурмон, – это электрические фонари? Или газовые калильные лампы? Надо сделать примечания».

Но дальше он натывается на слепца, «продающего свет в пятикопесчных коробочках», и, догадавшись, что тут дело идет о спичках, совершенно теряет самообладание: «Все эти метафоры, которые кривы на один глаз, а из другого прыщут огнями фальшивых бриллиантов», – восклицает он, не замечая, что сам уже заразился колдовством верхарновских метафор.

А дальше он дает очень верное и точное определение личности Верхарна.

«Верхарн имеет вид наикротчайшего и пугливейшего существа. Да он таков и есть действительно, как и по наружности, так и в самой своей сущности. Но как только он начинает писать, кротость его разрывается снопами молний. Это пугливый ребенок, который подымает адский шум и возню в комнате, чтобы не слышать странных шепотов тишины...»²

Эти слова очень ценны и важны для нас.

Верхарн действительно и пугливый ребенок, и средневековый прорицатель.

Нельзя быть прорицателем, не будучи пугливым ребенком.

Храбрость и страх – это не абсолютные свойства и качества нашего духа, а только относительные показатели нашей чуткости к внешнему миру, нашей впечатлительности.

Детская пугливость – это признак большой и тонкой впечатлительности, которая должна быть у каждого истинного поэта.

Мужество же – это только показатель притупленности наших чувств и отсутствия воображения.

Верхарн и в городе, и среди природы всегда остается пугливым и трепещущим ребенком. Только панический,

растущий страх действительности, враждебной и чудовищной, может создать грандиозность и стремительность верхарновских метафор.

Два великих фламандских поэта, Метерлинк и Верхарн, являются двумя лицами одного и того же страха, который, вероятно, есть истинное состояние их национальной души.

Метерлинк дает самоё детскую душу, трепещущую среди оступившего ее страшного и враждебного мира. Верхарн же дает только картину мира преображенного, преувеличенного детским ужасом, таящимся на дне его души.

У Метерлинка на первом плане уединенная детская душа, трепещущая от смутных ужасов, а у Верхарна ужасы мира во всей их стремительности, в их подавляющем величии, в их пророчесственной грозности, в их элегической безвозвратности.

Его вечернее сердце истекает кровью евангельских страстей.

В глубине вечеров он видит вздымающиеся черные катафалки — гробницы тех, чьи руки были ветвями, простертыми к весне грез.

Умиравший вечер кидает на болота отблеск своего меча и золото своих доспехов!

В его изобразительности играет роль множественное число, почти всегда употребляемое вместо единственного.

Ледяные луны восходят в пещерах ночного золота; Пастыри-Иисусы скликают стада; Черные Голгофы поднимаются в зареве заката. Он видит вечера, распятые на горизонте, полночи, мощенные тоскою, молящие руки толпы, простирающиеся подобно обезумевшим ветвям, зимнюю ночь, которая подымлет к небу свою чистую чашу. Он галлюцинирует в лесу числ, и труп его разума в одежде цвета пламени и яда медленно волочится по Темзе.